

Глупый Коля

Его в деревне называют Глупым Колей,
он телом взрослый, разумом дитя,
он вечно босый, вот бежит по полю,
колючи-дудки, а ему ничуть не колко,
и плетеницей над челом взлетает чёлка.

Лицом красив, черты — как отблеск рая,
глаза — озёра горного Алтая,
рот в детской радости открыт и ловит мух.
Всё Коле нравится. Всё хорошо ему.
— Ты мамку любишь?
Засмеётся Кольша.
Он любит всех,
но бабушку всех больше.

Мать в городе, всё ищет лучшей доли.
В завивке модной, в платье чистый шёлк,
с гостинцами для бабушки и Коли
приедет в отпуск — то-то хорошо!
Но отчий дым ей очи ест, он горек,
недельку поживёт — и снова в город.

Сейчас, мы знаем, полем он бежит,
вдали комбайн срезает волны ржи,
садится солнце, вот оно погасло,
и гонит стадо пыльное пастух,
идут коровы
молоко, сметану масло,
дары для жизни в вымени несут.
Воитель грозный, племени хранитель,
в любовной муке бык-производитель
цель догоняет, трепетную Майку,
в нём центнер мышц, башка размером с шайку
и, как ухват, угнутые рога.
Идёт отдельным стадом мелюзга,
овечки-ярочки и козочки пуховы,
баран шагает и козёл бедовый.
Над речкой мост, дощатые подмости,
толпятся бабы, старики, подростки,
здесь вся деревня собралась
встречать скотину,
и Коля тут босой и с хворостиной.
Он за козлом бежит, смеясь: эй, Борька!
На спину прыг и едет на козле!
А бабка смотрит и вздыхает горько.
«Ох, горькое дитя! Считаю, шашнадцать лет,
Ровесники-робята уж девок щиплят,
на тракторах всё лето, на канбайнах,
Володька Дудь с весны на мотоцикле,
а мой-то, поглядите, на козле».
И слёзы фартуком несчастно утирает,
А Коля:

— Баба, бабушка, не плачь!
Бросает Борьку, тот умчался вскачь.
«Ох, горькое дитя, ох, доля злая...»
Он обнимает бабушку:
— Не плачь!
И плачет сам.
А почему — не знает.

Случай на Кулунде

Подводная история

Толкая пяткой донные пески,
взрывая рыб воздушных косяки,
я в Кулунду нырнула. Под водой,
окутанная мутной немотой,
плыла, да вдруг за что-то зацепилась,
кочки травы, стеблей и листьев силос,
а тело холодит осклизлый ил,
но тут Водяник хватъ меня за косу
и ловко от коряги отцепил.

Прищуренные щёлки глаз. Смешок.
Он был похож на целлофановый мешок
с завязками на шее и на брюхе,
с большой серьгой — сигом в ухе,
в потёках водяных и в струйках, и сосулях ледяных,
на шее низка тины.

— Ты не видала рек иных! —
клокочет бороды его стремнина. —
Я покажу тебе!
Ведёт меня Водяник,
мерцает сланец сквозь густой торфяник,
плывём всё дальше, глубже в недра,
в нижний лаз вселенной,
спускаясь по бочажной, ртутной, пенной
струе туда, где вся вода Алтая вызревает,

весь снег изнаночной зимы стекает
и наполняет скважины, как чаны,
тазы гранитные и кальциевые ванны.

Здесь жили родников переплелись,
как на руках сибирских великанов!
Вода лилась, текла, ломилась, билась,
волами густошерстных волн неслась отсюда Бия,

Катунь катила камни, в круг себя крутясь,
перетирала мел и бирюзу толкла
и, в Бию врезавшись, лазурно замерла,
не смешиваясь, не соединяясь,
и потому вода была в полоску:
одна — белёсая, как береста берёзки,
другая — синь с налётом серебра.
Бежит, трепещет водяная зебра,
как рощица пестреет на лету:
бия-катунь-бия-катунь-бия-катунь.
— Вы обе Обь! — мигая мокрым глазом,
Водяник крикнул. Древним водолазом
сейчас он выглядел с тростинкою во рту.
— Катунь, теперь ты новая река Сибири.
Ты слышишь, Бия?

А новая река
пересекает степь, всю в лентах сосняка,
тайгу, болота, гать и топь,
в себя вбирает Томь — всё обаяние её и шарм —
и волю Иртыша, и конформизм Кызыма,
извилистого, что колечки дыма,
и мелких рек, ручьев очарованье ...

Борей играет на кугиклах камыша
в краю Обдоры, севером дыша,
увидит в тундре путник дальний:
весна с реки снимает лёд, оклад её хрустальный.
И вот разлив. Затопленные поймы.
И в каждом рукаве, и в каждой складке
налим, елец и окунь сладкий пойман,
муксун и жирный омуль у Ямала,
тугун и чир у мыса Салемала.
Не счесть племён, что жили здесь, имён,
их повторяет ветер, волны вторят:
«Зыряне шли к Обве, а русские — к Обноре...»
И вздрагивает Обь,
губою мягкою уткнувшись в море.

*

А мы...мы вышли к небу по воде.
И дальше я одна, несомая теченьем,
меж звёзд плыла — ведь нет у бездны дна,
и если смерти нет, то нет её нигде,
и мир подводный тут не исключенье!

Сестра не умерла

То было в девяностых. Битый быт,
кто спился, кто в инфаркте, кто убит,
завод закрылся, профсоюз распался.
Кто обворован, кто проворовался,
работы нет, а есть — так не платили,
мы с матерью картошку посадили.
Картина дня. Отбитый угол рамы,
я шла рядком, закапывала ямы,
запорошила пыль глаза и рот.
Расти большим, кормилец-огород.

Пришли домой.
Укрывшись покрывалом,
— Ох, сердце жмёт!
Ещё так не бывало! — сказала мать. —
Ещё так не сжимало никогда...
Как наводнением вздутая вода,
Втекал в наш двор апрельский вечер,
деревьев и кустов шумело вече.
В волнах «красавица лесная» груша
и наши вишни утонули.
Я любовалась садом из-за штор
и улыбалась. Я не знала, что
в минуты эти в Барнауле
мою сестру зарезали.

На сад я любовалась и окрест,
когда они входили к ней в подъезд,
в дверь позвонил один,
просил бинта и ваты,
стакан воды просил для брата,
тот у стены присел, как будто болен он,
а ушлый нож уже был занесён!
Семь раз они в сестру воткнули нож,
семь ран,
пока она бежала
по лестницам, зажатым этажами,
но я не вижу, взгляд мой стекленеет,
твердеет рот, язык деревенеет,
и как я расскажу, я вместе с нею умерла.
Я с ней лежу.

*

Простишь ли ты меня когда-нибудь,
моя голубка!
Не омыла, не собрала, не проводила
тебя в последний путь.

Ты так красива, милая сестра, так молода,
когда бы рядом я была,
тебя на луг зелёный положила,
букетик полевой вложила
в твои ладони,
сухой бессмертник, цвет душицы, донник
и мелкие головки маргариток,
ты их сожми перстами,
как разрешительной молитвы свиток,
написанный цветами.

*

Тебе, Земля,
не та, что глины горсть,
песка, подзола, чернозёма персть,
но ты, могучий шар, гигантская утроба
ты, в чреве чьём
зародыш изумруда зреет
и кварц преобразается в хрусталь,
как Золушка в принцессу,
под раскалённым временем, под прессом
созидается алмаз, божественный кристалл,
и хризолит, и сердолик лучистый,
не счесть всего, не перечислить...
Мерно
по кругу двигаясь,
со спутницей беседуешь Селеной,
ты любишь Солнце и надеждой тешишь Марс,
и даришь жизнь — одна во всей Вселенной.
Земля, ты всем нам мать.
Сестра моя уснула. Спит и спит.
Весною мягко спать в твоей степи,
как будто ангел стелет пух с крыла.
Сестра уснула, но не умерла.
Землица тёплая, прими её сегодня —
до пробужденья, до трубы Господней.

Последнее наше тепло

А в детстве нянькой мне была берёза,
ветвистая на небо лестница,
сениц и галок съёмный уголок
да белобокой кашеварки, вестницы,
прятала сорока сокровища свои,
да так-то ловко!

Эй, воровка,
кто стёклышко цветное уволок,
напёрсток, мельхиоровую ложку,
колечко, рыболовные крючки
и очи бабушкины — круглые очки!

Мы часто под берёзой собирались:
Вован-наган, хромой Валера, Ванька,
наш атаман, и выбражуля Анька.
Из Бийска приезжал к отцу на лето
тихоня Паша, золотые планки,
он «Русскую» играл нам на тальянке,
мы под берёзою пускались в пляс,
потом играли: в чехарду, пятнашки,
и в чижики, и снова в догоняшки.
Бывало, ссорились, дрались, потом мирились,
ведь это просто. Вижу как сейчас —
серпы мизинчиков легко сцепились:
«Мирись, мирись, мирись
и больше не дерись!»

Мы спорили, кто выше заберётся,
Всех выше забирался Тоськин кот.
«Слезай, — грозят мальчишки, — разобьёшься!»
А в небе тучек золотой окот.

Зимою ты была белее лилий.
И береста твоя, и бахрома...
Сегодня я узнала из письма —
тебя, мой свет, спилили!
«Во первых строчках моего письма, —
писала тетя, —
у нас все живы и здоровы.
Сейчас без молока. Не доится корова.
А у Кривцовых бабка умерла,
Ей память вечная
(тут слышится мне вздох),
хорошая была,
да хорошо и пожила.
Наст нынче плох,
буранило, но мы ходили, хоронили.
Дом ваш ещё стоит, берёзу же спилили.
Как человека, жалко, даже слёзы...»
Прощай, берёза.
Поленницы узорчатая пленница,
торчит клоками снега белый мох,
меж ровными рядами дров
идёт хозяин. Отряхнул поленья,
и на руки беря, несёт беремья.
Сарай минует. Поперёк двора
в избу заходит молодухе встречь,
раскладывает на шестке дрова.
Теперь ты быстрый жар голландки,
натопленная печь, тепло лежанки.
Прощай.
Окончен путь земной,
лишь пёстрый дым берестяной,
поднялся над избою —
всё, что осталось от тебя,
от нас с тобою.
Но вот и он рассеялся.

Боярка

Вдруг вспомнилось: ходили по боярку,
в Сибири так боярышник зовётся,
в шафранных ягодах, сгущённых, крупных, ярких,
чуть-чуть качни — и ярый свет прольётся
мне на цветущий маками подол,
в суглинок иль серебряный подзол
скользнут оранжевые ядрышки-частицы,
чтоб новою бояркой народиться.
Брат ловит их, подставив котелок,
и клювом схватывает удалая птица,
а ёжика зажмуренный клубок
в гирлянде ягод ни гугу, не шевелится.

Я помню пальцы мамыны. Она
как будто доит куст, куста доярка,
за пять минут уже не видно дна.
Вот полведра, вот ярая боярка
наполнила ведро и даже с горкой,
и мама этот сказочный надой
накрыла марлей, будто пеною парной.

И говорит, пшеницы прядь откинув:
«Никак отцовский трактор, вон, у речки!»
И мы бежим, а нам с горы навстречу
квадратик неба — синяя кабина!

На всю округу трактор тарахтит.
И счастья пыль под ноги нам летит.

Как полюбила я воспоминанья,
чтоб мыслью возвращать к себе иль словом
родное сердцу, облики бывшего,
лишь позовёшь, они уж тут как тут,
они ведь не исчезли, но живут
в надзвёздных горницах,
в светлицах мирозданья.